

В ноябре сорок первого, когда Москва опустела, эвакуанты растворились в пространствах и люди, и даже начальники, стали открытой и неподдельной в думах и разговорах, я был вызван с фронта в столицу на просмотр кинокартины "Машенька". Ведь был-то я ее сценаристом, а она, представьте, неожиданно-негаданно для начальства и фантастически для меня вызвала одобрение Того, Кто Решал ВСЕ. Верховного координатора. Напомню, что это случилось в те дни, когда немцы были под боком, в Химках.

Дом в Гнездиновском, где почти целый век помещается Кинокомитет, был пуст, ни души, только под лестницей, в кабинетике, маячил кинодраматург А. Я. Каплер, знавшийся в те тяжкие годы кем-то вроде негласного референта Предкомитета. Кстати, звали этого Предкомитета — он на памяти всей плечной рати моего поколения — Большаков. Иван Григорьевич Большаков.

Каплер привел меня к нему, тот (я не хвастаюсь!) обнял меня и даже назвал по имени-отчеству — ведь "Машенька" полюбилась Самому. Вождь даже якобы после просмотра, по словам Большакова, сказал, что подобные фильмы полезны. "Народу необходимы чувства", — сказал мне Большаков, передавая его слова.

Но так или нет — не поэтому затеял я сей рассказ. А только лишь потому, что с этого часа в этом безлюдном доме в Гнездиновском, где все кабинеты были порожними, двери раскрыты и коридоры — шаром покати, я провел отпущенные мне с фронта дни. И в эти решающие для страны часы очень многое раскрылось мне после стольких лет дрессировки — люди начали в пустоте говорить о том, о чем годами молчали, и даже сам Большаков стал судачить со мной налегке. Обо всем. И рассказал немало того, о чем в нормальное время не поведать бы и под пыткой.

Напомню тем, кто еще не ведал об этом, что ни один фильм не мог в те годы протиснуться на экран без того, чтобы его не просмотрел Хозяин. Так утверждала молва. Однако согласно все той же молве любил-то Вождь всей душой две-три ленты и мог смотреть их без края, всегда. Например, "Большой вальс". Рядом с ним в просмотром на Даче, несмотря на глухой час (он смотрел по ночам), томпились Соратники.

Так вот, Большаков, по его рассказу, возил на Дачу не только тот, новый фильм, который обязан был показать, но и на всякий случай резерв — те ленты, к которым Сталин питал особую слабость и которые видел десятки раз. И причили с таким багажом (на двух машинах), И. Г. Большаков приступал к разведке.

Ведь надо было отожать-ся на поистине судьбоносный шаг: решить — демонстрировать или нет в эту ночь свежееиспеченную картину. А для такого решения следовало, по словам Ивана Григорьевича, досконально выяснить обстановку. От пучин до вершин. Каково настроение Сталина? Не раздражен ли? Не раздосадован? Не случилось ли в этот ушедший день чего-нибудь, что могло вызвать его скрытую ярость — затаенную, но тем более страшную? Не имели ли место желчь и разность? Хорошо ли поужинал? Не жаловался ли на изжогу? Не поминал ли

Троцкого? Как дела с уборкой хлеба и выплавкой стали? Что с Америкой, Гитлером, Британской империей? Говорил ли с кем-нибудь по-грузински долго и непонятно? О чем? И о многом другом, что не имело, естественно, ни малейшего отношения к новой кинокартине, но касалось вплотную ее дальнейшей возможной судьбы. И только после столь филигранных исследований шеф нашего кинотворчества релася на дачный показ "неошеной" кинокартины. При наличии всех ободряющих примет. В случае даже невидимых миру тончайших сомнений И. Г. Большаков опять и опять крутил "Большой вальс". И с неизменным успехом.

— Да, так-то, друзья мои, — сказал мне тогда Большаков в безлюдье опустошенного Комитета. — А я ведь знаю — вы продергиваете меня за то, что я задерживаю ответ на ваши фильмы. Вы посидели бы рядом со мной, когда их смотрит Хозяин!

И я представил себе умственным взором и Дачу, и зал просмотров, и Хозяина, и Со-

Евгений ГАБРИЛОВИЧ:

ратников. И ожидание вердикта, который обжалованию не подлежит. И подумал о том, сколько же все-таки хороших картин Иван Григорьевич, жучимый всеми, вытрас из пелла. Но думал я и о том, как за долгие годы прикосновения к огню обгорела в нем совесть. И только ли в нем? А ведь именно в этой прожаренности до костей причина всего, над проявлением чего бьются сейчас, мордуя друг друга, наши историки и моралисты.

И подумав так, я уже в те времена простил Большакова, как, впрочем, и всех, побывавших в рощах Кремля. В его чуланах и дачах. Все же Иван Григорьевич был не худшим из тех, кто государствовал над искусством.

Многие из его тогдашних рассказов я напрочь забыл. Но один-другой застрял в памяти. ...Однажды зимой Большаков показывал Сталину новый фильм. Был, по обычаю, поздний час, покойно и мирно взирал на кинотворение Вождь, смиренно, не закрывая глаз, дремали Соратники. Вдруг, примерно на середине экранных хитросплетений, Сталин встал и вышел из зала. Не проронив объяснений. Возникло смещение.

Находчивей всех оказался Молотов.

— Прекратить! — крикнул он.

Вспыхнул свет, замолк стрекот проектора. Молотов резко обратился к Большакову:

— Что за мерзость вы нам привезли?!

Соратники подхватили: — Вздор! Околесица! Клевета!

И еще минут пять гремели оценки того же калибра.

Молотов завершил: — Фильм запретить! Чем вы думаете, когда везете сюда картины? Что у вас вообще происходит в кино? Большаков сидел, помертвев.

И именно в этот момент погиблеи вошел Вождь, засветившая на ходу ширинку.

— Что случилось? — спросил он. — Зачем остановка? Давайте смотреть. Отличнейшая картина!

Воцарилась безмолвие. Да такое, какое бывало только при Сталине.

— Оборвалась пленка, — сказал кто-то из Политбюро.

Кажется, это был все тот же Молотов.

А может быть, Каганович? Не знаю. Но в том, что это был член Политбюро, тут уж Иван Григорьевич, поверьте, не мог промахнуться.

## Ничего я не написал!

О скольком я так и не написал! Хотя мог бы, обязан был.

О сталинских временах, например, не о лагунках и лесоповалах — об этом сказано страшно и сильно, а как раз о том, что в эти зверские годы множество множеств таких, как я, жили, как все, жили, как люди живут, спали, ели, женились, гуляли, хворали горлом и животами, любили, интриговали, смотрели кино и спектакли, пробивались на тепленькое, отталкивая других, льстили, кадили, торопились к врачам, приметив отечность под глазом. Вот эта слитность затормозных зон, вони, этапов, вшей, лютости, мертвых тел на снегу, лживости, беспощадности с постоянно текущим, суетным, неизменным, всегдашним, как вздох, как

дал — не сравнить с общепринятой жизнью.

Трудно вообразить более пестрый век. Геройство, мерзость, коварство — все, что люди искусства столетиями пытались вбить в холст, чернила, ноты, резец, все это вплотную прошагало со мной или во мне. Привычно, как ветер, солнце, изжога, страх, ссоры с женой и посещение туалета.

Побродяга и журналист, я видел едва ли не все, что предложил мой срок человечеству: войны, погромы, парады, расстрелы, открытия памятников и низвержение их, оплевывания и возвеличивания, видел стройки, аресты, заседания, походных жен, коллективизацию, голод, начальные забавы. Видел Брежнева, Берию, Горького, горящие танки, тюремные эшелоны, солдатские трупы. И главное — это был магистральный мотив — обычай ползать на брюхе.

Вот тут-то мы действительно указали человечеству путь, озаренный ладаном и интернационалом.

А теперь только и слышу от каждого сопляка:

передать.

Представьте, ведь находились, случилось, и передавали: еще не сдохла вконец душа. И было не то чтобы подло, а попросту неумогу не сыскать человека, кому адресовался этот последний, зашученный голос.

Но длилось это недолго. Душа вскоре сдохла.

## Встреча с Господом Богом

Было полпервого ночи, телевизор показал все, что смог, — не только песни и пляски, но и то, как внешне смотрится сперматозоид, — показал и примолк до утра, а Кешки все не было, не возвращался. Это, правда, с ним случилось и прежде, и разъяснял он такие внештатные обстоятельства твердо и правдоподобно — встреча с приятелем детства или еще куда проше — задержало бессонное начальство. Набор оправданий, занесенных в святцы семейного бытия, в его бормотания и акафисты. Скучных, как жвачка, прокисших, как наспех просо-

злбно сидел на бульварной скамье человек.

Наконец он спросил: — Вы кто? — Женщина, — ответила Катя.

— Это я вижу, — отметил он. Он был стар, но не очень. Одет наспех. Живые глаза, борода. Обтертый и очень подштантый.

— А вы кто? — в свой черед спросила она.

— Я — Бог, — сказал. — Господь Бог.

— Нет, я серьезно, — улыбнулась она.

— Серьезнее не бывает, — отозвался подштантый. — Я — Всевышний. Создатель всего. И небес, и бульвара.

— Почему же ты здесь? — хохотнув, спросила моя героиня.

— Где?

— Здесь, на Земле?

— Хотел поглядеть, как вы тут.

— Ну и как?

— Нормально, — ответил Бог.

— Нормально?! — вспыхнула Катя. — Грыземся, обманываем, убиваем, мошенничаем, ворует, подсиживаем, изменяем!

— И что? — сказал Бог. — Живете такими, какими и были в моих намерениях. Кто вам вбил в голову, что человек запланирован мной на кротость и доброту? На искренность? Всепрошение? Вздор! Я вовсе так и не проектировал человека. Нет, он придуман мною головоломней. Намного извилистей. Неизмеримо хитрей. И выстроен так, как задуман. Неужто ты полагаешь, что я хотел сделать человека таким, каким его лепят ханжи и праведники? Ты, что, считаешь меня дураком?

Он примолк. Снова проснулся дождь. Снова покашлял, вздохнул и умолк. Катя подняла голову.

— Слушай, — сказала она. — А может, ты вправду Бог?

— Докажи!

— Чем? — спросил Бог.

— Каким-нибудь чудом.

— Как это?

— Так. Ну сотвори что-нибудь. Например, исчезни.

Разом!

— Ладно. Захлопни глаза.

Катя зажмурилась. Через пару секунд раскрыла глаза. Бога не было. Нигде. Ни на лавке, ни под, ни сбоку.

Она воротилась домой. Кеша был дома.

— Где ты была?! — спросил он ее как всегда гневно, когда сам подгуляет.

— Пошаталась, — сказала она. — А ты где был?

— Пошатался, — ответил он.

— До трех часов ночи?

— Встретил старого друга, — сказал Кеша именно то, что она ожидала услышать. — Не виделась с самой войны. Вспоминали бои и походы. Вот я маленько и подзадержался.

Он врал. По всему было видно, что был он у бабы.

— Знаешь, — сказала она, — а я видела Бога.

— Ко-го? — удивился он.

— Бога.

— И что?

— Ничего. Поговорили.

— С кем?

— С Богом.

— О чем?

— О главном.

Он долго молчал и недоуменно глядел на нее. Потом обнял и поцеловал.

— До чего ж я люблю тебя! — сказал он. — И знаешь за что?

— Не знаю.

— За то, что ты не едучая, — сказал он. — Слушай, я хочу жрать. Изжарь мне яичницу.

И она пошла на кухню. Жарить яичницу.

Она, говорившая с Богом. Так сложно, по-стерженному.



зевота, и есть та генеральная мысль, которую подарила нам всем Эпоха в награду за то, чтобы было мирно, безропотно и покорно. И чтобы помалкивали.

Но молчал я не только по этому. Молчал, потому что верил. Сперва не верил. И долго. Потом поверил. И долго. Затем опять не поверил.

И вот как раз об этом — о том, что как раз под самый финал, под завязку, с седыми клочками волос на затылке я навсегда усомнился, об этом и надо было бы в самых подробностях пространно и обстоятельно написать, распороз мозг и душу. Однако не написал!

Ничего я не написал!

## Эх, Ваня!

Как журналист-профессионал я был на двух-трех судебных процессах тех давних лет и видел за отполированными барьерами, на подсудимых скамьях, многих недавно овевяных слабой большевиков. Если честно — верхушку Партии.

И слышал, как эта верхушка подтверждала каждый плевкок, харкнутый в нее прокурором.

Что это? Как это могло быть? Откуда? Почему?

Я думаю, потому, что к сороковым годам остались на нашей неповторимой земле всего лишь горькие единицы, что перли наотмашь против того, что повелела Власть. Все остальные не смели отойти от УКАЗАННОГО ни на возглас. Считалось, что так будет ПАРТИИНО. Патриотично. Интернационально. Послушно кланяться. И во славу рабочего класса идти под расстрел.

Да, во многом можно упрекнуть Россию, но в том, что она была неверна делу Маркса — Энгельса — Ленина, ее укорить нельзя.

Сколько же я всего пови-

# МЕЛОЧИНКИ

Евгений Иосифович Габрилович, писатель, киносценарист, теоретик кино, отменно знаком зрителям всех поколений. "Машенька" и "Мечта", "Последняя ночь" и "Два бойца", "Убийство на улице Данте" и "Коммунист", "Наш современник" и "Странная женщина", "В огне брода нет", "Начало", "Монолог" — эти и многие другие фильмы, снятые по его сценариям, вошли в классику отечественного кино, а я был сценаристом, в зрелищную классику, у которой во все времена есть массовая аудитория.

Евгению Иосифовичу — 93 года. Но зима патриарха нашего кинематографа деятельна и плодотворна. В качестве доказательства этого я с удовольствием представляю читателям "Курантов" отрывки из его новой, только что завершённой книги "Мелочинки".

А. ЗОРКИЙ.

— Эх, Ваня! Ничтожное вы поколение!

Побыли бы вы в нашей упряжке. С нашим жребием и судьбой!

## Порхающие записки

В начале тридцатых я, начинающий сценарист, женился. Родился сын Алексей. Жили мы летом возле дачной станции Клязьма Ярославской дороги. И каждое утро, гуляя с Алешей, я продлевал с ним ритуальный путь: вперед — к станции и назад — к даче. И вот когда мы добрались до станции, мимо мчались на север странные поезда. Сплошные товарняки: теплушки с глухо забитыми окошками. Однако сколь прочно ни заколачивай то, что хранишь, всегда, по порочной нашей традиции, останется щелочка или даже щель. И вот через эти щели знает как уцелевшие щели порой выпархивали записки. Они долго металась по воздуху вслед мчавшимся красным вагонам, но, угомонившись, все же падали на траву — Алеша, играя, гонялся за ними и приносил их мне, когда они застревали в обочине, на траве или на кустах.

Записки — все на оклочках, в осмущуку листа, были разные. В одних стояло только одно "прощай!". В других, рядом с этим, значилось слово "целую!". В третьих — их было немало — "не верь никому, даже близким". В четвертых — "живи, я погиб, ты свободна". В пятых — такие шли редко: "Оля, расти Егорку. Все вранье. Твой Коля. Прощай!".

И удивительно — всюду сбоку, едва заметно, как бы шепотом, значилось: "Все, кто найдет, передай, если не сдохла в тебе душа". Еле заметно и безнадежно стоял телефон или адресок, куда

ленные грибы. Но все же съедобных, если их прополощешь. Надо только уметь полоскать.

В общем, грянула полночь, а Кеша все не было, и она, Катя, хоть и легла в постель, но задремала и не смогла уснуть и, повертевшись без сна на диване, служившем им уже год или даже полтора, решила, что не заснет и что надо выйти на воздух и дожидаться Кешку снаружи, вне этой истасканной и замызганной комнаты, которую они снимали задорого потому, что хотя и были по внешнему виду супругами, но внешнеактивными, нелегальными, а за это надо было особо трости кошелек.

Катя накинула пальтецо налегке, по-домашнему, обвязалась платком и вышла. Стояла беспорядочная ночь. Город залег до утра. На бульваре, что по соседству и куда вышла Катя, — ни звука, ни человека. Она походила по главной аллее, мимо всего, истоптанного, полусъеденного, смятого и выброшенного человечеством за день. Кеша не было — что за черт!.. Разом, одним махом, вдруг погасли бульварные фонари. Кеша не было. Это ее не шутя забеспокоило.

Бульвар был вдрызг пуст — вы даже не можете представить себе, каким безлюдным может быть бульвар в два часа ночи. Какими глухими и приунывшими бывают небо и облака. Пригорюнились даже ветер, хотя по привычке по-дневному поигрывал опавшими листьями. Спросонья закапал дождь, но вскоре примолк. На одной из бульварных скамеек сидел гражданин — единственный, кто еще не уснул среди прилежного человечества. Катя подселла. Человек молчал. Она молчала в мыслях, как ей жить дальше. Ей хотелось было от того, что среди этой глухоты рядом без-

09.07.93.2